

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТОЯНИЕ

Н. Н. Мурзин

1

Все упреки, обращенные к метафизике, сводятся, по большому счету, к одному-единственному, который сам по себе целая метафизика – а именно, что метафизика теряет «реальную вещь». Так это или нет, и если так, то каким образом и почему, да и что это за «реальная вещь», о которой идет речь и спорится философское дело, можно ли ее в принципе не потерять – все это уже опять метафизика, моментально, как новая голова, отрастающая на месте отрубленной. Кто-то даже назовет именно это собственно философией, первой философией, а все, что было до этого – картинками с выставки и наивным мышлением. Легче от такого оборота не становится. Вещь утрачена, ускользнула. Вместо *ti esti*, «что это?», следовало бы спросить «что это было?» Когда было? Да вот, только что. Прежде мысли, перед-нею-стоящее. Но стоило нам начать мыслить, эта вещь тут же куда-то подевалась, запропастилась. Чем дальше, тем больше. Хотя, вот ведь странность, именно о ней-то мы и хотели говорить, именно ее стремились приблизить, коснуться, получить в распоряжение.

Коварство метафизики в том, что она не намерена отступить, даже когда суть дела становится до безнадежности очевидна, выходит на свет. Кто-то скажет, что это героизм. Но что от этого изменится? Подозревая в не меньшем коварстве саму вещь – и постольку оправдывая свое коварство – метафизика стремится упредить ее побег тем, что заявляет на нее изначальные, априорные права. Абсурдно, казалось бы, затратив столько усилий на то, чтобы добраться до вещи и увидеть ее, наконец, воочию стоящей перед тобой, вдруг заявить, что сам ее тут себе и поставил, оставил. Но эта абсурдность притязаний лишь туман, которым окружает себя коварство. Как теперь вещи ускользнуть, если она, оказываясь, задана постановкой моего вопроса, является моим представлением. Но и в столкновении с подобным коварством вещь вышла на проверку сильнее, чем о ней думала другая, думающая ее вещь. Присвоив вещь, мышление тут же вступило в мучительный конфликт и разлад с самим собой. Если раньше оно опасалось, что не может достигнуть вещи, то теперь, получается, оно не может достигнуть самое себя. Вещь теперь в нем самом слепое пятно, черный ящик, терра инкогнита. И уже не кивнешь на обманчивый, изменчивый мир. Какой мир? Нет больше никакого мира. Есть только ты. И значит, ты сам себя дуришь. Осталось только понять, зачем.

Впрочем, сегодня это уже позавчерашнее, наивное коварство. Паутина куда тоньше, и, однако, прочней – предположение, что подлинно философское состояние и есть та интимная близость с вещью, которая от всякой философии, да и не только от философии, бежит как от огня. Нет, не верьте, скажет такой философ, философия и есть то самое, прекрасное, лучезарное. А коли нет – тогда это псевдо-философия, недо-философия; я их знать не знаю и знать не желаю – все они обманщики и шарлатаны. Это показывает, насколько метафизик одержим и захвачен весь своей целью, насколько он готов, при случае, даже отречься от имени «философа» и предать анафеме всю «философию», лишь бы подобраться к вещи. Ему легко – он знает цену словам, и отбросит их не глядя, потому что отлично понимает: на кону нечто неизмеримо большее.

У метафизика стоит кое-чему поучиться. Он знает, что вещь драгоценна, и держится этого знания, несмотря на то, что повсюду ее разменивают на мелочь, сбывают с рук за бесценок. Он – старомодный демон, таскающий с собой свои по старинке составленные контракты, с неодобрением взирающий на мелких бесов, лавочников, торгашей, заполонивших и захвативших все вокруг, но ничего не знающих о прелести души, о том, в

какую великолепную и трагическую игру втягивает желание заполучить то, что никогда тебе не дастся.

2

Если вещь есть, она просто есть. Понятие бытия здесь излишне, как материя в *esse est percipi* Беркли. Вот если ее нет, нам требуется прояснить это «нет». Чего, собственно, нет? Ага, попалась. В сети «нет» ловить порой проще и надежнее, чем в сети «да». Так мы и движемся: от простого «нет», которого и самого нет, поскольку мы не знаем, о чем оно – через такое «нет», которое некоторым образом «да» – к такому «да», которое только через «нет» и может определиться, высветиться. Финальный аккорд – когда мы эту конечную, пропущенную через мясорубку вещь отождествляем с изначальной, простой настолько, что она даже не требует никакого дополнительного, сверх того «бытия» – и говорим: готово. Бытие оборачивается диалектикой небытия.

Почему-то философия всегда окружена сонмом inferнальных двойников, порождений вовсе, казалось бы, не спящего разума. Если рождение рассматривать как очищение, избавление, тогда – несомненно, она «очищается».

Но вещь ускользает ведь не от себя, а от нас. Для нее это естественно, для нас – трагично. Наше здоровье – фармацевтическое здоровье, ну а философия... Что философия. Одна сплошная трагедия самопознания. Хотел одного – вышло другое. Думал так – а оно этак. Потому, что здесь две вещи изначальны, а не одна. Если и есть какая-то истина, то она в том, что сама «истина», первейшее требование и постановление нашего мыслящего существа, может быть только одна, и никак иначе. Следовательно, в результате получишь или вещь, или мышление. Мышление, конечно, тоже вроде как вещь. И даже большая, чем собственно вещь – оно тебе и оно само, и нечто «иное»...

Антагонист разоблаченный во сто крат опаснее. Последнее слово мышления таково, что бороться с ним можно только его же силой. Вот, скажет оно, напрудили критики. А ведь критика – это тоже я. Но это не критика. Это конвульсии. Вещь бьется, отбивается. Объект потому и объект, что возражает. Философия это знает, допускает, принимает. Чем сильнее демон, тем более осознаны его притязания, тем нешуточнее борьба. О, эта дьявольская самоуверенность, что, в конце концов, оно все равно заполучит вещь, что сопротивление бесполезно, что оно лишь добавляет сладости этой изощренной игре.

3

К самой вещи. Но как? Очевидно, не мышлением, раз оно на подозрении – так и напрашивается сказать: «у самого себя», но скажешь – и пропадешь в диалектике. Должен быть какой-то другой путь, и кажущаяся абсурдность заявки: «мыслить не мышлением», то есть, фактически «не-мыслить», не должна нас пугать.

Вещь прямо перед нами. Вот же она. *Dasein*. И в нас уже поселились тоска, тревога, страх утраты. Мы знаем: одно неосторожное движение – и она исчезнет. Что же делать? Броситься на нее, схватить, прижать, не отпускать? Или помедлить, начать просчитывать в уме варианты, смотреть искоса, приближаться бочком и сторожко? Как бы то ни было, она ускользнет – в одно мгновение. Во внешнем или во внутреннем, в действии или в рефлексии, она будет потеряна. Возможно, она – наш собственный знак, что бы мы под этим не подразумевали; растерянность делает нас почти человеческими. Возможно, она предстает перед нами на один судьбоносный миг, только чтобы указать нам на нас самих. Разум естественно эгоцентричен. Что бы ни случалось, случается с нами и для нас; иначе мы себе этого не представляем. Чем отчаяннее мышление настаивает на вещи, тем глубже оно увязает в себе. Тогда оно прибегает к уловке – обращается с удвоенной силой на себя,

чтобы прийти к вещи от обратного. Но в результате получает только тень, контур, негативную характеристику. Мышление проваливается в ничто.

Как выбраться, выкарабкаться из ничто? *Кант* говорит: волей – воля есть положительный ноумен, в отличие от чисто отрицательного ноумена вещей-в-себе. Теория познания, наука, разбирающиеся с феноменальным миром, не спасут от ничто. Поступок, действие, «да» и «нет» практического разума вместо «истины» и «лжи» теоретического, *Кант* провозглашает задолго до *Ницше*. И ошибается *Ницше*, когда считает *Канта* моралистом, противопоставившим мораль и историю природе. Этика нужна *Канту* затем только, что она «спасает» вещь, она – связующее звено между теорией познания и эстетикой; по ней, как по цепочке, важнейшие характеристики и составляющие вещи передаются, переводятся в эстетический эквивалент. Чудовищное слово «интериоризация». Но по *Канту* это единственная возможность. Воля перечисляет средства мира на свой собственный счет. Природная красота мало того, что служит *Канту* образцом красоты души; сама природная вещь поднимается, возвышается до прекрасного недействующе-действующим волевым созерцанием, которое больше и созерцания, и воли. Этическая автономность и эстетическая незаинтересованность всегда и во всем соучастны и взаимны.

Гуссерль не нуждается уже в кантовских Dinge – у него вещи Sache, а вместо мышления и воли – сознание с ноэмами и ноэзами. Это, прежде всего, великий эстетический жест, отход от старой антропоцентрической метафизики с ее выделением человека в особую присутственную и деятельную фракцию. *Канту*, чтобы созерцать, все еще необходимо действовать; *Гуссерль* пускает все на самотек сознания. Но пафос скрытой деятельности, получивший у *Гуссерля* имя интенциональности, все же роднит его с *Кантом*. Интенциональность, правда, уже не допускает ни природной необходимости, ни сознательной воли – там сплошь механическая сообразность, и неудивительно, что *Гуссерль* чаще ссылается на *Декарта* с *Лейбницем*, чем на *Канта* с *Гегелем*.

Но главное у *Гуссерля* – идея вещи как «первого» впечатления о ней, которое происходит в сознании, происходит-сознанием. Здесь до известной степени ослабляется кантовское жесткое «априори-апостериори». Интенциональные структуры все-таки не тождественны априорным и синтетическим. То, как вещь привходит в наш жизненный мир, некоторым образом фиксируется нами, не остается незамеченным, и поскольку составляет особый, «допредикативный» опыт, постольку может быть рассмотрено особым образом, не аналитически.

Хайдеггер начинает с Ничто. Ничто вернулось. Как избежать Ничто? Ведь тут уже весь мир проваливается в ничто, а не только философ. Тут мы не в умозрительном, не в интеллектуальных дрязгах, а в перспективе реального у-ничто-жения.

У *Аристотеля*, например, мир четко делится. Есть вещи, относящиеся к человеческому хозяйству, быту, обиходу, самим человеком сделанные, из чего-то еще полученные, преобразованные. И есть вещи божественные – например, звезды – никаким боком в это хозяйство не входящие, никак к нему не относящиеся. На разделении двух миров строится вся онтология. Одно определяется в отличии от другого. При этом принцип и там, и там один, только по-разному обращенный: вещь либо для чего еще, либо ни для чего, то есть, для себя, то есть... Логика начинает разворачиваться именно в такой отрицательной плоскости. Причинно-следственные отношения, пускай в опрокинутом, перевернутом виде, переносятся на мир подлинного бытия.

В Новое Время это божественное хозяйство становится *человеческим*. То есть, тут, конечно, не все так просто. Огромная, непостижимая вселенная целиком и полностью вмещается в нашу голову, да она еще и куда более несомненна, математически безупречна, чем чреватая иллюзиями «окружающая действительность». Отмахнуться от реального мира, как выяснилось, куда проще, чем от этой бесконечной Вселенной, о которой нам докладывает наш собственный разум. Получается, человеческое хозяйство не

тот маленький мирок, который человек с грехом пополам обжил и все в нем расписал по нехитрому ранжиру, а вот эта вот божественная неизмеримость, несоизмеримость, несоразмерность. Теперь человеку надо вырасти ей подстать, чтобы с этим новым хозяйством как-нибудь управиться. Почему? Да потому, что вся она сплошь идеализация, одна мысль. А мысль – это я. До тех пор, пока она была мыслью *Бога*, идеей в *разуме Бога*, я мог спокойно заниматься своими малозначительными делами, доверив заботу о Вселенной Богу, всемогущему, всеведущему, всеблагому. Я принимал за аксиому, что в принципе не могу знать, как она там устроена; Бог устроил – Он знает. А если все же могу? Хочу ли, смогу ли я вместо Него стать *causa sui*, первым началом и последним основанием всего сущего, таким, дальше которого ничего нет, которое больше ничто не поддерживает?

Стать Богом – значит, упереться в ничто, понять, что отступать некуда. Забота о сущем возможна только тогда, когда все оно собрано, поставлено против ничто, которое – оборотная сторона монеты. *Cogito ergo sum*. Я, мыслящий, есть сущий. То, что я живу и умру – трагический парадокс. Значит, и Вселенная тоже заканчивается и умирает, со всей своей бесконечностью, несмотря на нее. Физика, например, оперирует понятием «смерть Вселенной», и это не абсурд. Во мне, как в человеке, бесконечный субъект и конечная телесность соединены. То, что я смертен, значит, что и Бог тоже смертен. И уже Ницше сможет это выговорить.

Конечно, против этого принимаются меры. Тот же Декарт настаивает на дуализме, чтобы я не тащил смерть за собой в бесконечность, чтобы тело, в которое смерть вцепилась, всегда можно было отпустить, разомкнув звено души, крепящей одно к другому. Да и Бог больше с миром не связан, Он его запустил, как механизм – и сразу отошел в сторонку. А в мой собственный разум вложил идею самого себя, то есть, совершеннейшего существа, которое больше, чем всякая моя мысль, и потому ее исток (большее из меньшего не происходит), обосновав, тем самым, бесконечность, которая вдруг в себе пошатнулась. Вернее, не в себе она пошатнулась – мир вдруг стал шатким, и мир малый в последнюю очередь. Побег в бесконечную интеллектуальную Вселенную удастся, только если сжечь за собой мостик души, по которому в ее совершенный порядок могут прокрасться чудовища из мира иллюзий и смерти. Мира, который может быть сном, мороком, чарой злого гения. В отличие от умопостигаемой Вселенной, которая создана и предоставлена в мое распоряжение бесспорно, несомненно добрым Богом, и в силу этого одна только является источником ясных и отчетливых представлений. Поэтому Декарт настаивает на телесности медиатора двух субстанций. *Glandula renalis*. Победим смерть смертью. Почему нет.

За них за всех – за Декарта, за *Спинозу*, который остроумно избавил божественную бесконечность от всех проблем, связанных с обособленной конечностью, объяснив индивидуальное разумное существо лишь модификацией субстанции – договорил потом Ницше, причем уже безо всяких оговорок. Хайдеггер, мыслящий *после* Ницше и *перед* лицом у-ничто-жения, истолковывает заботу о сущем и страх ничто как судьбу *всего* Запада (и не только), а не проблему в головах нескольких философствующих «субъектов», до которых никому нет большого дела. Метафизика стала историей. Да она ею и так с самого начала была: чем еще может быть то, что следует за *физикой*, то есть, за *природой*? Но для Хайдеггера, в отличие от Ницше, проблема уже не то, удастся ли переход от человека к сверхчеловеку, и возможен ли вообще последний, а наоборот – возможен ли еще человек. Как раз сверхчеловек, смертный Бог, за которым ничто, взявший на себя заботу и распоряжение сущим – реальность, а техника – ее/его очень даже телесная душа: и средство, и цель; и мост, и тот, кто по нему идет. «Вот» никакого «бытия» нет; бытие что/где/как угодно, только не «вот». «Вот» можно указать лишь на ничто – дыру в бытии, зияющий провал во мрак. «Вот» соотносится со *временем*, с моим настоящим пребыванием. Сущее спасается в субъекте от дырявящего пространство мира ничто.

От Гуссерля к *Витгенштейну*. Мы, кажется, снова потеряли вещь. Не удивительно – со всей этой философией. На самом деле она здесь, никуда не делась. Единственная вещь, с которой имеет дело философия – это *мир*.

Вся интеллектуальная аргументация относительно вещи сводится к тому, что вещи нет без меня; неправомочно и в принципе абсурдно утверждать что-то о вещи самой по себе. Вещь есть сумма своих качеств и свойств, субъект предикатов. Суммирую же их я. Я, впрочем, аналогичная сумма. Следовательно, я и себя суммирую, складываю. Складываюсь. Раскладываюсь. Из чего? Из своих собственных элементов – органов чувств, сознания, мышления, речи, памяти. Пока они полностью не сформировались, никаких «вещей» для меня и в помине нет – одни разрозненные восприятия. Но вот я вырос, выстроился – и появились *вещи*. Выяснилось, что мир – вот это все непонятно что – состоит из *вещей*. Тут уже *мир* начинает расти, строиться вместе со мной. Но это мы забежали вперед.

Итак, вещь складывается из отдельных чувственных фактов, элементов, *интенциональных предметов*. Они, правда, тоже суть мои восприятия, но почему-то для них, установив их низшую, подчиненную в отношении к сущности самой вещи природу, я готов сделать скидку и признать, за несущественностью, их известную независимость. Вот и получается, что части одновременно и меньше, и больше целого.

Но надо же всем этим элементам где-то, как-то «быть», «до» того, как я соберу из них вещь. Это и есть мир. Тут следует уточнить, что любой известный нам, обозреваемый эмпирически или интеллектуально «мир» – только *картина* мира, собственно, тоже некая сконструированная нами из соответствующих элементов философская вещь. В этом смысле «я», «мир», «вещи мира» – сплошь конструкты, и различаются они по составу, а не по устройству. Но все же мы привыкли, в «естественной установке» ли дело или в чем еще, мыслить себя и отдельные вещи проще, кучнее, более цельными. «Мир» выдает свою интеллектуальную действительность – произвольность и условность собранного, умозрительные основания сборки – куда очевиднее, нежели «я» и «нечто».

Но и вещь тогда – собранность всего мира. И она ближе к миру, чем «мир», составленный из «вещей». Вернее, мы сначала создаем «мир» по образу и подобию вещи, а затем – «вещь» по образу и подобию этого «мира». Но такой «мир» – наш ли, любой другой – и сам только составная конечная вещь, и ставит на всем, что представляет, свое клеймо. Его «вещи» не элементарны, а лишь фрагментарны. Они не стыкуются с «вещами» других «миров» и не составляют подлинного мира. Несозданный и не созидающий, он – горизонт всех соединений. Он иллюзорен, но и иллюзия всегда больше, чем просто иллюзия.

Вещь никогда не исчезнет.

Мы никогда не умрем.